

Алина Гатина – прозаик, публицист, редактор, выпускница философского факультета КазНУ им. аль-Фараби, Литературного института им. А. М. Горького (мастерская Олега Павлова), шеф-редактор журнала KISTORY.

Лауреат литературных премий: «Алтын тобылғы», ФИКШНЗ5, журнала «Дружба народов», финалист премии «Лицей», награждена медалью ИД «АиФ» – «Слово на вес золота».



Алина ГАТИНА

САД

Субботнее майское утро на остеклённой веранде было лучшим временем для тихого безмятежного сна двух стариков. Они дремали так многие субботы многих месяцев, кроме зимних, когда веранда стояла нетопленной, а все цветы из неё заносили внутрь дома.

Первый старик был чёрный ворчливый скотч-терьер Хазар, чьи брови, борода и усы не собирались белеть даже к старости; второй – хозяин дома, но так выходило только по документам, а на деле – муж хозяйки дома, давно облысевший фронтовик Сева. Он получил это имя на радужной улице Оренбурга, куда семилетним мальчиком прикатил на арбе из Казани, где звали его Сабитом; его же называл на Втором Украинском фронте, где времени на дружбу было немного, и потому короткие, понятные большинству имена были не причудой, а скорее необходимостью.

Через умытые вчерашней грозой окошки веранды Севе открывался мир, где раньше не было ничего, а позже – не за шесть, конечно, дней, а за четверть жизни, – появился сад, по которому впервые пошёл человек; за ним – другой, третий, а за теми тремя – четвёртый и пятый с шестым, а за ними – поколения пожарников, носорогов, махаонов, кузнечиков, саранчи и тех, кто питался ими вперемешку с травой и возвращал Севе плоды его творчества в виде яиц, мяса и молока. И в разных уголках этого сада Сева играл со светом и тенью, высаживая персики, абрикосы и яблони так, чтобы кроме пользы от них была и красота, потому что за пользу в их доме всегда было кому отвечать – Сева на такой женился – а за красоту нужно было бороться самому; особенно теперь, когда жизнь его почти перестала держаться телом, а держалась духом, изнемогавшим, если эта красота от него ускользала.

А она всё время от него ускользала. И в первый раз это случилось в гружёной арбе, когда младшая жена отца, любившая Севу как брата, держала над ним покрывало от лупившего града и дождя и кричала, чтобы он не оборачивался, потому что сзади уже ничего не осталось. Но сама продолжала смотреть. И Сева, не понимая, слёзы ли бегут по её щекам или это дождь, тоже обернулся и увидел, как быстро загорается дом, и как причудливо меняются ставни и балкончики голубого мезонина, и как бегут по резным наличникам геометрические фигуры, и как опадают жёлтые солнца, и как вместо того, чтобы улететь, молитвенно складывают крылья красно-зелёные птицы, и диковинно сохнут цветы, и как всё это плавится и превращается в трусливых змеек, и бежит, убегает по гладким израз-

цам, и последнее уже – перед тем как навсегда повернуться вперёд – увидел, как лопаются эти изразцы, и могучие деревянные балки, словно стреноженные великаны, клонятся к земле.

Попав на войну, Сева узнавал этих великанов в горящих самоходках и танках. Они ревели и скрежетали, как могут реветь только звери исполинских размеров, а после стояли робкие и обугленные, стыдливо курясь на больших необжитых пространствах земли, лицом к лицу с некогда могучими «тиграми» и «пантерами», с которыми невольно роднились теперь, одинаково утратив красоту и превратясь в неподвижные железные остовы.

Края большого участка Сева подбил цветниками. С высоты невысокого облака они смотрелись словно пёстрое кружево вокруг зелено-бурой материи сада, и по весне, лету и осени сменяли друг друга, вспыхивая, будто сигнальные огни, и показывая Севе и тому, кто мог бы сидеть на облаке, что всему есть начало, но ничему нет конца.

Привыкнув к жизни без охоты, Хазар спал крепко, лёжа на боку, вытянув мохнатые чёрные лапы, точно это не он, а хозяин должен был стеречь его старческий сон. Теперь из него исчезли и слезка, и погони, и узкие норы с вёртками лисицами и свирепыми барсуками, и, судя по тому, как покойно вздымалось его короткое тело, Хазар припал во сне к материнской груди, и эта грудь была для него целой Вселенной.

Рая зашла на веранду за ножницами и, посмотрев на Хазара, невольно улыбнулась.

– Вот дармоед. Хоть бы ухом повёл.

Сева тоже улыбнулся, но глаз открывать не стал.

– Не шуми. Мне нравится, как он дышит во сне.

Она взяла с подоконника ножницы, открыла дверцу комода и достала несколько целлофановых пакетов.

– Лекарство выпьешь в обед, с горшком особо не тяни. Пока закончу, не меньше часа пройдёт. Может, созреешь?

Сева махнул скрюченной рукой, как будто прогоняя жену за границу его с Хазаром идиллии. Обвисшая кожа на руке колыхнулась белой дряблой тканью, обильно посыпанной гречкой.

Сева не стеснялся жены – теперь это было бы глупо. Его тяготила только жгучая тоска, крутившая внутренности, как мясорубка, когда он понимал, что больше не хозяин себе. Он вспоминал однокашника по техникуму: однажды утром, зайдя за ним перед учёбой, тот громко и мучительно выдохнул, будто внезапно познал очевидность, долгое время бывшую у него под носом: «Ну всё! Влюбился!» И в лицах и деталях поведаль предысторию – с номером автобуса, и цветом глаз, и всем, на что хватило его возбуждённого красноречия. А следующим утром так же громко и мучительно выдохнул: «Какая к чёрту любовь!» И в тех же лицах, но уже без деталей, а сухо и сдержанно, с брезгливым каким-то и виноватым выражением рассказывал, как подошла сама и сама же спросила, где здесь поблизости туалет. Сева хохотал до слёз, а теперь, поглядывая на кованный сундук жены с чистой белой материей и деньгами на поминальные обеды, подумал, какой глупый смешной болван его канувший в неизвестность однокашник и какая недооценённая роскошь – ходить в туалет самому. Самому подняться с кресла, самому отрегулировать скорость шага, самому зажечь свет, потянуть дверь, закрыть её на задвижку – ведь задвижка в туалетной двери для того и придумана, чтобы охранять этот сакральный момент от чужого вмешательства, – самому снять штаны, самому опуститься на стульчак.

Рая разоряла цветник с расчётливостью вора, отбирая только самое ценное, но суетясь при этом, как оса, забравшаяся в пчелиный улей пировать на чужом.

Сева молча буравил взглядом её спину через открытую дверь. Рае казалось, что он нарочно вздыхает, чтобы вызвать в ней чувство вины. Но никакой вины она не испытывала. А чего было в ней много – так это разочарования от всего, что не несло какой-либо пользы. «Поцвели и отцвели. Теперь что? Трупы». – «Но ведь красиво», – говорил Сева. «Но ведь недолго», – говорила Рая. «В этом-то и фокус. В миге», – говорил Сева. «Когда бы этот миг окупался», – говорила Рая, лязгая ножницами.

И Сева терпел, когда цветы срезались по стеблям: в конце концов, его пожизненное лекарство стоит недёшево; да, помогают дети, но помогают набегами, когда есть что оторвать от себя. А у Раи действительно жилка. И когда цветы срезались по стеблям, он сидел и помалкивал, шевеля языком внутри плотно сомкнутого рта. Но когда она сказала, что один постоянный покупатель выпросил у неё луковичные вместе с луковицами – его любимые зеленоцветные тюльпаны, которые он развёл по своей же оплошности, приняв их за тюльпаны Рембрандта, – Сева застонал в голос, представив, как следующей весной в эту самую дверь с этой самой веранды ему будет не на что любоваться. Может, Хазар к тому времени и отлетит в свой собачий рай, а сам он уходить не собирался. Благодаря каменному непослушному сухому телу он чувствовал себя укоренённым на этой земле – и Бог его знает, сколько придётся рубить, чтобы прогнать его в темноту, в бесцветие, в ничто.

– Не сметь! – закричал Сева, вцепившись в ручку кресла одной рукой, а вторую протянув вперёд карающим жестом и подавшись за ней всем корпусом. – Не сметь трогать луковичные!

– Сева... твой сад... это обуза, – спокойно и даже как-то вдохновенно сказала жена, словно её водрузили на театральную сцену читать прощальный монолог из бенефиса известной, но надоевшей всем актрисы. – Просто возьми и признай это раз и навсегда. Для таких, как мы, это обуза. В нём давно ничего нет. Хорошо я выносливая, – она пригладила смуглыми кистями накинутый поверх платья садовый халат и припечатала их к бёдрам, – я сажаю картошку, сажаю огурцы, помидоры, лук, Сева, чеснок. Я поднимаю из семян врагов цинги. Зелень, Сева, клубнику, малину – природный аспирин. Это всё можно есть. Это всё нужно пищеварению. Так человек устроен, Сева. Человек должен есть. А цветы, Сева, несъедобны. Но я умудряюсь делать съедобными даже их – посмотри, – она распахнула перед ним холодильник, – были цветы, без пяти минут трупы, – стали продукты.

Сева обиженно отвернулся к окну.

– В нашем саду, – Рая перегородила ему окно, – давно никто не живёт. Посмотри правде в лицо, Сева. Ты сидишь дома и ничего не видишь. Ты же не знаешь, что вообще происходит в мире. В нашем огороде... Хорошо, ты зовёшь его сад, – пусть будет сад. В нашем саду, кроме тли, четырёх блохастых кур и колорадских жуков, жрущих мою картошку, – никого. Да, и ещё бродячих котов, которые ходят под носом у твоего Хазара и ни во что его не ставят. Они же смеются над ним, Сева! Тебе не обидно? И ему хоть бы что. Когда он последний раз лаял? Эти звуки, которые он из себя выжимает... Да я не знаю – бормотание одно.

– Это порода такая: без дела не лает.

– Да брось! Он охотник, он пёс, он создан, чтобы лаять, – она подняла правую руку и, сжав её в кулак, оставила только указательный палец, потрясая им в воздухе. – В сарае я заряжаю мышеловку три раза в неделю, а это, между прочим, его работа. Он по этим делам диссертацию защитил.

– Раиса, оставь. Он слишком стар, он заслужил.

– Он стар, ты стар, я стара. Но я савраска по призванию. И я в отличие от вас что-то делаю, – она вдруг прикусила губу и метнула на Севу виноватый взгляд.

Сева прикрыл глаза и покачал головой.

– Ладно, – сдалась Рая, как бы извиняя саму себя. – На горшок не хочешь?
– Отстань от меня, наконец! – вспыхнул Сева. – И перестань называть это горшком! Я чувствую себя инвалидом!

Рая повела плечами.

– Сева, ну ты и есть инвалид. У тебя паралич.

Она сошла с веранды, смочила тряпку, вполсилы выжала её и расстелила на земле. Сева тогда наблюдал за ней не только глазами. Он вращал, поднимал и опускал голову, следя за каждым её движением. Вот она метко воткнула лопату в землю, продолжая при этом смотреть на Севу, как бы показывая ему: всё это лишь часть распорядка дня, всего лишь обыкновенные садовые ритуалы; она занимается ими ежедневно с марта по октябрь, с тех пор, как её попросили на пенсию. Вот перехватила руками черенок, чуть выше того места, где он почти раскололся надвое, но Рая вовремя его реанимировала, потому что всему вещественному в жизни давала второй, и третий, и четвёртый шанс. Вот отвернулась от него и ногой, обутой в галошу, вогнала лопату в землю, и с этого момента уже не поворачивалась, потому что работа пошла ювелирная – нельзя было повредить луковицы. Вот выкопала подряд тринадцать тюльпанов – Сева вёл счёт каждому – и на каждом ждал, что она остановится, про себя почти умоляя её об этом. Вот присела на корточки и завозилась с тряпкой, а когда встала над ней, тюльпаны лежали, как расстрелянные тела, попадавшие на землю в ненатуральных позах. Наконец она накрыла их другой тряпкой, аккуратно сложила в пластмассовое ведёрко и повернулась к мужу.

– И я как химик отношусь к этим моментам без эмоций. Я романтик, только когда читаю Пушкина. А в остальные минуты я человек, понимающий, что жизнь – это не Лукоморье, не поэма, Сева. Это одна сплошная физиология.

Сева тогда ощутил, как внутри него всё обмякло и больше не способно сопротивляться. А в животе у него зашевелилась та самая физиология, и он сказал:

– Раиса, давай на горшок.

Она уже нарезала букеты бледно-розовых пионов и бинтовала их мокрой тряпкой, с которой капало прямо на порог веранды.

Когда Рая вернула мужа на место и прикрыла ему колени вязаной шалью, Хазар прижал бородатый подбородок к груди, выгнул спину, напряжённо потянул лапы и открыл глаза. Сева свесился с кресла и коснулся его живота. Хазар перекатился на спину, задрал лапы и широко зевнул.

– Всего только восемь, а такая жара, – Рая цокнула и отошла от градусника. – Повянут, пока донесу.

– Ты смотри, много не нагружайся.

Она потянулась, повращала руками и с сонным наслаждением выдохнула:

– А скинуть бы лет двадцать, а? Сесть бы в машину, поехать на дачу, забыть про все эти тяпки, лопатки. К чёртовой матери забыть и плюхнуться на раскладушку в теньке с Моруа. Читать да мечтать под щебет над головой. И ведь он такой громкий, а спать совсем не мешает.

– Кто?

– Щебет.

– Ну-у, размечталась, – улыбнулся Сева.

– Да, а потом насобирать бы клубники, малины, крыжовника и плюхнуться в бассейн. Я вот думаю: и чего я раньше этого не делала? Всё какие-то сорняки выискивала, ветки подрезала. Вишня эта бесконечная для варенья, пастила, помидоры солёные... А соль, она вон – вся в остеохондроз пошла, – Рая хлопала себя по загривку. – Иной раз головой шевельнуть не могу. Ой... Это же какое удовольствие – подплываешь на спине к бортику, протягиваешь руку, на-

щупываешь ягоду, раскусываешь её... Ой... Отталкиваешься ногами и плывёшь дальше. Точнее не плывёшь, дрейфуешь даже.

– Врёшь. Ничего бы ты такого не делала, а торчала бы на грядках с утра до ночи и нас за безделье костерила.

– Клянусь бы, не торчала. Вот клянусь!

– Ладно, сейчас-то чего говорить. На заднице весь ум и остался.

Рая подошла к зеркалу, повертела перед ним головой, по очереди разглядывая то правую, то левую половину лица, потом улыбнулась своему отражению и сказала:

– Ой, Сева, ты прав. Ничего бы я такого не делала. Махала бы тяпкой и вас бы гоняла, – она повернулась к нему и скрестила руки. – И правильно делала, что гоняла. Вот ни на грамм ни о чём не жалею.

– Ну теперь я спокоен. Я уже слишком стар, чтоб узнавать тебя заново.

Рая заглянула в сумку.

– Ключи здесь, кошелёк здесь, сетка здесь. До двух выдержишь?

Он кивнул.

– Калитку не запирай.

– Сева, она не придёт.

– Но ты не запирай.

Лили не было с февраля. Сева знал, почему, или думал, что знал, но отказаться от ожидания сейчас, после стольких суббот, когда она росла на его глазах и донимала его вопросами, он не был готов. Пустот в его жизни становилось всё больше, а материала, чтобы их заполнять, не осталось совсем.

Сева уже приучился смотреть на большой и нелепый ангар, занявший место вырубленной половины сада, как на что-то, из этого же сада проросшее. Ангар был из тех времён, когда он, послушавшись авантюрного друга, вовремя не проявил характер; решил, что семь-восемь спиленных плодоносов – невеликая цена за собственный строительный склад собственных же стройматериалов. Правда, когда друг чуть дольше необходимого задержал взгляд на соснах, Сева замер, словно заранее предвидя паралич. И быстро выдохнув, коротко сказал – не дам. Друг наигранно улыбнулся, собрал чертежи и рассказал какую-то весёлую чепуху (Сева понял: собственного сочинения, а не из древних греков, как было заявлено) про слепцов и ленивцев, не умевших разлагать предметы на атомы. Атомы дерева – это не только тень, но мебель, бумага, здания, деньги – заключил он деловито. И повторив – а не одна только тень, Сева, – скрылся из виду на несколько лет.

Теперь в особенно тяжёлые дни Сева тоже хотел стать деревом, на которое нашёл бы свой дровосек. И когда ветер трепал металлическую крышу заброшенного склада, думал – со складом или без было бы то же самое, что сейчас? Или всё-таки есть предметы, которые не нужно делить на атомы?

Лиле было одиннадцать. Она была дочкой и сестрой, но никогда не была внучкой. Сева без труда мог бы вспомнить её деда сидящим у персика в этом саду, где раньше стояла беседка и лето напролёт резались в домино; и Лилину бабушку в Раисиной кухне, в переднике Раи, обсыпанную Раиной мукой, её громкий барабанный смех и даже ямочки на щеках, с какими всегда мечтал заполучить жену, но вовремя такой не встретил.

До внуки они оба не дожили и ушли задолго до того, как Севу скрутило пополам, а отца Хазара задрали шакалы. Дружба же с Лилей завязалась недавно и, скрепившись тумакими, как детской клятвой дружить до гроба, перешла не то в любовь, не то в родство, не то во всё сразу.

Все его внуки были старше и жили далеко. Лилия была его внучкой четыре года и девять месяцев.

На преступление против детства Севу подбил Хазар. Сева дремал над раскрытой газетой, когда тот влетел в комнату и с лаем упёрся в его колени. Он оттолкнул его ногой, сложил газету, укутался пледом и приготовился спать дальше. Хазар подбежал к окну, потом снова повернулся к Севе и залаял ещё звонче. Окно выходило к воротам, над которыми свисал многолетний густой виноградник, растревоженный каким-то движением. Сева опустил голову и притворился спящим, но Хазар, выскочив из комнаты, пронёсся по коридору, выбежал в сад, обогнул дом и, подпрыгивая на коротких ногах, будто на пружинах, загалдел под самым виноградником. Сева выругался, отбросил плед, подошёл к окну, пригнул голову и выглянул наружу. Зелёная виноградная шевелюра ходила ходуном. Сева схватил костыль, прислонённый к стене, и, ни секунды не раздумывая, злобно метнул его вверх. Костыль пролетел сквозь листву, упёрся во что-то твёрдое и сшиб это твёрдое на землю. Наступила тишина, и Сева, потеряв от удовольствия руки, вернулся в кресло, укрыл остывшие ноги и снова задремал.

Вечером Рая проронила за ужином, что муж её – тот ещё меценат. Отрастил зелень, на которой пасутся все уличные дети от пяти до двенадцати лет, и травиться не травятся – плоды-то без селитры, – а с заборов падают и кости ломают.

Сева побледнел и застыл над тарелкой. Рая жевала с аппетитом и бойко рассуждала, какое теперь замечательное время: нет, не то чтобы богатое – денег как не хватало, так и не будет хватать, хотя на похороны им хватит, уж об этом она печётся, – но чтоб расстреливать или в ссылку за украденный колосок – ну даже не верится, что всё это было в их детстве. А про девочку ей Никитина рассказала – и не просто рассказала, а даже как будто порадовалась, потому что у неё эти воришки пообрывали всю черешню. Но Боженька, мол, всё видит и на каждый дармовой хлебушек у Него запрятана мышеловка. «А я ей говорю, это что у тебя за Боженька такой особенный, мстительный и блюстительный?»

– Сева, ты в рок веришь?

– Что?

– Ну, в фатум. Или в наказание? Два месяца в гипсе за виноград – это наказание? Ты знаешь, Сева, я в жизни ни во что, кроме себя, не верила, но то ли старею, то ли глупею, а вот думаю об этом, хоть тресни. Только опять же, наказание взрослому вору одно, а ребёнок – разве он вор? Два месяца в гипсе за виноград – по-моему, это слишком. Вот мне лично приятней думать, что с заборов падают, потому что руки не из того места растут – просто-напросто держаться нужно крепче, – а не потому, что кто-то кого-то за что-то наказал.

Рая перестала жевать и посмотрела на Севу. Он уставился в одну точку, в руке его тряслась пустая ложка. Потом он сказал:

– Раиса. Рая. Я угробил ребёнка.

– Дурак. Ты угробишь меня, если скажешь такое ещё раз.

Она увидела его беззащитную лысую голову и вдруг подумала, что, если бы кто-то посягнул на его спокойствие, если бы родители девочки пришли ругаться за дочь, – она бы встала на его защиту, как на защиту собственного ребёнка, и грудью закрыла бы его хоть от целой улицы, хоть от целой армии.

Но они не пришли.

Их не было ни тем вечером, ни на следующее утро. Прошёл ещё один день. Сева выпил таблетку, паралич отступил, он выпрямился и, заложив руки за спину, нервно зашагал по залу. Рая сидела на диване и всякий раз, когда Сева проходил мимо, дёргала шейю, пытаясь разглядеть, что происходит в телевизоре. Сева периодически задавал вопросы, как будто бы самому себе, и Рая, не отрываясь от телевизора, подавала какие-то звуки. В конце концов он встал на против неё и спросил:

– Раиса, разве это возможно, чтобы гипс наложили на два месяца? Разве накладывают не на месяц?

Рая вытянула шею вправо, но в той части телевизора показывали пустой кусок парка, и она вытянула влево, где растрёпанная женщина с ножом в руке и с ужасом в глазах выглядывала из-за дерева. Играла тревожная музыка.

– Разве обычно не на месяц? – повторил Сева.

– На месяц, – машинально ответила она.

– Откуда ты знаешь?

– Ну-у... – она продолжала тянуть шею и смотреть в экран. – Потому что она ребёнок, Сева, а у детей бешеная регенерация.

– Тогда почему на два?

– Наверное, какой-то сложный оскольчатый перелом.

Сева глухо застонал.

– Ни за что себе не прощу! Наверное, там страшный, ужасный, кошмарный перелом, иначе бы наложили только на месяц. И месяц-то долго! А тут целых два!

Тревожная музыка в телевизоре стала ещё тревожней. Рая затаила дыхание и перестала моргать.

– Раиса, – позвал её Сева.

– И хорошо, – отозвалась она, покусывая губы и не сводя глаз с экрана. – Успеет подготовиться к школе. Ты знаешь, что в школу теперь поступают, как в институт: только через экзамены. А тут ты со своим костылём, – она прыснула и посмотрела на Севу.

На его лице по очереди отразились беспомощность, разочарование и гнев – и это так её подстегнуло, что она зажала себе рот ладонью, и теперь хохот звучал как частое истерическое сморкание.

– Ребёнок! – затрясся он в гневе, выставив вперёд оба кулака. – Ты знаешь, что такое лето для ребёнка?

– Ещё как! Девяносто два трудодня без возможности отлынить! Асхатов, да уйди ты от телевизора! Что ты хочешь от меня? Они наверняка даже не знают, что какой-то полоумный старик запустил в их ребёнка костылём. Они думают, упала сама! Да и Лильев там – во! – она раскинула руки, демонстрируя количество. – Я так думаю, что Лильев и сама не знает, отчего она шмякнулась. Костыль-то остался по эту сторону забора, а свалилась она – по ту! Всё! Уйди!

На какое-то мгновение лицо Севы разгладилось, и он почти улыбнулся, потом вдруг снова насунился и почти вскричал:

– Дура! Ты думаешь, я из-за страха? По-твоему, я кто? Сколько, по-твоему, мне лет? Я человека покалечил! Ребёнка!

– Покалечил, Сева. Всё. Нет тебе прощения. И если ад есть – гореть тебе в аду. А теперь дай мне посмотреть фильм.

– Хорошо, но завтра отведи меня к ним.

Рая оторвалась от телевизора и уставилась на него круглыми глазами.

– Совсем спятил? Ты из дома третий год не выходишь.

– Пойдём, как подействует таблетка.

– Не выдумывай. Бред несусветный.

– Тогда я сам пойду, – тихо сказал он и сел в кресло.

Рая порывисто встала с дивана, подошла к телевизору, постояла перед ним с минуту и вышла из комнаты. Сева услышал, как заскрипели дверцы шкафа, как хлопнула входная дверь и как она громко скомандовала Хазару: «Дома!»

Когда она вернулась, лекарство уже перестало действовать, и Сева сидел в своём обычном виде – скрюченный и молчаливый.

– Ну всё, – живо сказала она, вынимая серьги из ушей, – мосты наведены, поводов для беспокойства нет. Никитина эта – старая сплетница. Надо было сра-

зу к ним сходить. Гипс как гипс. Нога, конечно, сломана, но не так уж там всё и страшно. Может, через месяц и снимут. А может, и раньше. Девчонка у них весёлая и очень своим ранением гордится. Они там пляшут вокруг неё как заведённые. Ты меня слушаешь?

Сева кивнул, не поднимая головы.

– Я сказала ей, как только снимут, – сразу к нам. У нас и собака, и дед, и сад. Короче, наобещала ей кучу всего, – она присела на обод кресла и положила руку на его плечо. – Ну как? Молодец у тебя жена?

Он слабо улыбнулся, поднял трясущуюся кисть, и Рая вложила в неё свою.

Через два месяца Лиля пришла к ним за цветами, чтобы отнести их учительнице на первое сентября. А через три – стала бывать каждую субботу.

В обед Сева выпивал таблетку, и у них было несколько часов для дружбы. Лиля рассказывала ему, как ей не нравится ходить в школу и какие там дурацкие правила; Сева отвечал, что нет ничего более дурацкого, чем сидеть дома, и что в школу он бы пошёл хоть сейчас. Лиля говорила, что ему это только кажется, и требовала историй.

Историй было много, но самые любимые были про чёрную кошку и про то, как Сева держал медведя. Ни одна из них Севе не нравилась, и больше всего он жалел, что, по глупости или желая вызвать в ней интерес, рассказал про чёрную кошку, расстрелянную им на войне после того, как она перебежала ему дорогу. Не рассказал он только про Костю Нагибайло, который после кошки всё донимал его смехом: «А коли баба с пустыми вёдрами, ты и её?!», а следующим утром Костю накрыло снарядом так, что Сева увидел, как тот распадается на маленькие кусочки и стремится вначале вверх и в стороны, а потом ударяется в стены окопа и падает на каску, плечи и сапоги Севы, и Сева, контуженый, падает и зажимает уши, а в них – далеко-далеко, как из тоннеля, – Костин смех.

В феврале, когда он видел её в последний раз, она пришла раньше обычно. Рая была на рынке, Хазар лежал на веранде, Сева дремал в кресле, клонясь всё ниже и ниже. Бубнил телевизор. Лиля прокралась в комнату, закрыла ладошками его глаза и громко сказала:

– Сева, покажи пулю, я тебе трикошку помогу закатать.

Сева вздрогнул. Словно его рывком вытянули из мягкой прожорливой трясины.

– Трикошку я и сам закатаю, – сказал он хриплым голосом и попытался откашляться. Потом медленно откинулся назад и снова прикрыл веки. – Ты сегодня рано.

Лиля молчала.

– Ты ещё здесь?

– Конечно. Жду, когда пулю покажешь.

– Покажу, дождёмся, пока лекарство подействует.

– Сколько ещё?

– Полчаса. Может, меньше.

Она протянула руку к его голове.

– Сева, почему у тебя на лысине нет морщин?

– Не знаю. Не там постарел, где надо. У меня лысина, как у младенца, – он разлепил один глаз и потёр его указательным пальцем.

– Дай потрогаю.

– Трогай, – Сева наклонил к ней голову.

– Теперь пулю.

– Пули там нет.

– Мне почему-то нравится думать, что она там.

– Мне сейчас не согнуться.

- Я сама.
- Далась тебе эта рана. Сколько раз показывал.
- Давно показывал, может, её уже нет.
- Куда ж она денется, вот, – он попытался наклониться, но на лице появилась такая мучительная гримаса, что Лиля остановила его руками и мягко оттолкнула назад. Потом в три оборота подняла левую штанину, пока на белой худой голени не показалась небольшая ямка, напоминающая воронку.
- Потрогаю? – спросила она восторженно.
- Трогай, – улыбнулся он.
- Лиля надавила на воронку два раза, вернула штанину на место, подтянула ему носок и села рядом.
- Знаешь, как я раньше про тебя думала? Ну, почему ты заболел?
- Раньше – это когда?
- В детстве. Год или два назад. Я думала, ты заболел, потому что людей убивал. Ты людей убивал, и Бог тебя наказал.
- Сама додумалась или услышала от кого?
- Сама. Думаешь, брехня?
- Сева открыл глаза. Лекарство начало действовать, тело понемногу оживало, в руках и ногах появилась приятная тяжесть.
- Я об этом никогда не думаю. Война была, на войне не надо было думать.
- Ну вот, а ты не веришь, что школа – самое дурацкое место на свете.
- При чём здесь школа?
- В школе нам только и делают, что говорят про думать, – она надела его очки, спустила их на нос и, изменив голос, изобразила учительницу: – «Вы должны научиться думать... человек вырос из обезьяны, потому что научился думать».
- Что ж вас до сих пор по Дарвину учат? – улыбнулся Сева.
- Лиля сняла очки, подошла к зеркалу и показала себе язык.
- По какому Дарвину?
- Что человек произошёл от обезьяны.
- Это нам классная говорит. Она ведёт у нас природоведение, а у старших – биологию. Она без конца говорит про своих животных. – Лиля повернулась к нему. – А ты тоже думаешь, что мы произошли от обезьян?
- Нет, я давно так не думаю.
- Она подошла к телефону, сняла трубку и послушала гудки.
- А я думаю, что в школе надо всё поменять. Надо устроить выборы учителей. Ну, чтобы нас учили только те, которых мы сами выбрали.
- Это кто ж вас такой демократии учит? – удивился Сева.
- А никто, – Лиля залезла на стул, а оттуда села на крышку пианино. – Это же просто, как дважды два. Например, мы выбираем старосту класса, выбираем президента школы, почему же нельзя выбирать учителей? Например, за эту учительницу по биологии я бы ни за что не голосовала. Сказать, почему?
- Почему?
- Она сказала, что история с медведем – липа. Она сказала, что я её выдумала и что такого не бывает. «Не бывает, – говорит, – чтобы медведь жил с человеком в обычном доме». При всём классе сказала.
- А ты что?
- Сказала, что бывает. Что у меня дома как раз и жил.
- Сева усмехнулся.
- Но это же неправда.
- Почему неправда? Он ведь жил у тебя, а это практически у меня.
- Всё равно неправда. У тебя он не жил, и ты нехорошо поступила, что со-
врала.

– Но она сказала, что это неправда, что это вообще ни за что невозможно.

– И она не права, и ты.

Лиля прикусила нижнюю губу и уставилась в пол.

– Из-за неё все подумали, что я обманщица. Я должна была доказать!

– Пришла бы ко мне, я бы дал тебе фотографию, где медведь сидит за столом вот в этом саду. Тогда она бы точно тебе поверила.

Лиля прыгнула на пол и радостно крикнула:

– Покажи мне сейчас!

Сева поднялся с кресла и быстрым шагом прошёл в кабинет, где хранились его книги про животных и растения, фотоальбомы с охоты и путешествий. Он собирал их до болезни, старательно подклеивая и подписывая каждый снимок. На стенах висели рога архара и марала, а на высоких полках стояли чучела болотной совы и пустельги.

Сева с гордостью оглядел комнату и пропустил Лилю вперёд. Он деловито походил из стороны в сторону, делая вид, что вспоминает, в каком из шкафов лежат фотографии, хотя прекрасно помнил – в каком, но ощущение лёгких конечностей и присутствие человека, заинтересованного в нём, кружили Севе голову и отменяли всякое желание смотреть на часы.

– Вот он!

Он выдернул из кипы альбомов тот, что искал, сел на диван, вынул из кармана очки и начал листать. Лиля взобралась на спинку дивана и обняла его за шею, рассматривая фотографии.

Наконец она увидела большой чёрно-белый снимок, запечатлевший настоящего бурого медведя в окружении людей. Он сидел за накрытым столом, запрокинув голову и приоткрыв рот, словно только что произнёс тост, от которого сам же пришёл в восторг.

– Это ты! – Лиля показала на молодого Севу. Он стоял слева от медведя и смотрел прямо на Лилю. Кудрявый, прямой, в вышиванке с закатанными рукавами. – А это тётя Рая.

Она сидела боком к камере, уперев в руку подбородок и улыбаясь мальчику на противоположном конце стола.

Сева провёл рукой по изображению жены – она была полная, длинноволосая и очень задумчивая. Севе нравилось снимать её профиль: линия спины плавно переходила в линию шеи и заканчивалась упругой чёрной шишкой, схваченной невидимками на затылке.

– Какие вы молодые, – протянула Лиля.

Сева закрыл альбом и посмотрел на часы.

В саду надрывно верещали индийские скворцы, вовлекая в свою ругань других птиц. Хазар поднял голову, лениво повёл ушами и посмотрел на хозяина. На веранде стало припекать. Сева схватился за приделанный к стене ремень и с третьей попытки вытянул себя из кресла. Время таблетки ещё не пришло. Медленно передвигая ноги и почти не отрывая их от пола, он с трудом одолел коридор, дошёл до зала и опустился в кресло.

Несколько раз он пытался подняться, чтобы подойти к окну и послушать: не топчется ли кто-то возле ворот. Раиса упрямая и калитку могла запереть – с неё станется. Но подняться так и не смог и, тяжело вздохнув, подумал: правильно ли поступил с Лилей. Два месяца назад он был уверен, что правильно. А теперь чувствовал себя таким же беспомощным и растерянным, как в тот день, когда, спотыкаясь в мёрзлой грязи, упрямо нёс на руках журналистку ташкентской газеты «Правда Востока». И тот же Костя Нагибайло с обожжённым лицом кричал ему в самое ухо, глядя на её развороченный живот: «Брось, померла!» – и тянул его вниз к земле, прикрывая оголённую голову лопатой. Но Сева не бросил.

В санчасти их разделили. Когда из голени доставали пулю, он, не стесняясь, плакал, а Костя Нагибайло сказал: «Сева, я стал поэтом. Слушай... Ни одну не люблю я женщину, потому что люблю войну. На войне можно вдоволь наплакаться, здесь не принят вопрос "почему"». Севе стихи не понравились, но Косте он сказал, что понравились.

Сквозь сон он вспоминал, что ещё было в тот день. Вот он захлопнул фотоальбом, посмотрел на время, вот Лиля царапнула ноготком обложку и, всё так же сидя у него за спиной, сказала, что если сейчас позвонит её классная, не мог бы он объяснить, что она пропускала уроки по уважительной причине.

Сева ничего не понял.

Лиля замешкалась, встала с дивана и неестественно уверенным голосом сказала:

– Понимаешь, меня не было две недели. Если сегодня позвонит моя классная, скажи ей, что я пропускала, потому что ухаживала за тобой.

– Как? – недоумевая, спросил Сева.

Лиля принялась обкусывать губы.

– Ну я же уже объяснила, – нетерпеливо сказала она. В её тоненьком голосе прозвучало женское раздражение.

Сева помотал головой.

– Я всё равно ничего не понял.

Лиля повысила голос и отчеканила каждое слово:

– Если сегодня позвонит моя классная и спросит, как твоё здоровье, и потом спросит, когда я приду в школу, скажи ей, пожалуйста, что приду в понедельник, а может, во вторник. Но главное, скажи так, чтобы она поняла, что ты в курсе всего.

– В курсе чего? Почему она позвонит сегодня, и почему сюда, и почему две недели?

Сева почувствовал себя дураком, провалившимся в трясины. Обычно она появлялась, когда он засыпал в ожидании таблетки, и исчезала, когда он бодрствовал, приняв её. Теперь всё стало с ног на голову. Он был бодр, таблетка работала не больше часа, но он увязал всё глубже и глубже.

Лиля посмотрела на него со злостью.

– Сева, ты же мне друг?

Севе захотелось сказать, что Костя Нагибайло был его друг. И ещё был его друг Лёша Трубников. И Анвар Шарипов. И ещё журналистка из ташкентской газеты «Правда Востока», рассказавшая ему про биофак и МГУ. И никто из них ни разу не спрашивал, друг он им или нет. И он тоже не спрашивал. Он только писал в обтрёпанной тетрадке, которую таскал за пазухой: «Вчера, 25 февраля, умер мой друг Костя Нагибайло. Сегодня, 3 марта, умерла мой друг, фотокорреспондент ташкентской газеты "Правда Востока". Сегодня, 10 ноября, умер мой друг Анвар Шарипов и ранен мой друг Лёша Трубников. Сегодня, 11 ноября, умер мой друг Лёша Трубников...» Тетрадка закончилась раньше, чем война, но он таскал её до последнего, как щит, а когда всё закончилось, открыл, чтобы перечитать. Но ничего нельзя было перечитать. Всё изорвалось и стёрлось. Остались только плохие Костины стихи. Но их Сева помнил и так.

– Ну что ты молчишь? Она ведь может позвонить в любой момент, – Лиля дёргала его за рукав и поджимала губы, стараясь не заплакать. – Ты скажешь?

– Разве я такой калека?

Лицо её от корней волос до острого подбородка медленно заливалось краской. Колени были сжаты. Она сидела, опустив голову, и комкала подол вязаного платья.

Раздался телефонный звонок. Они встали с дивана одновременно. Сева смотрел в сторону, Лиля смотрела на Севу. Потом они пошли. В коридоре Лиля обогнала Севу и заглянула ему в лицо. Сева не смотрел на неё. Она взяла его за руку, но его пальцы остались безучастны. Она посторонилась, чтобы он вошёл в зал первым, а потом обогнала его снова и снова заглянула в лицо. И снова он не смотрел на неё. Она хотела взять его за руку, но он протянул её за трубкой. Она сделала шаг назад и спряталась за его спину, будто учительница могла разглядеть её из телефона.

– Да, – сказал Сева. – И вам здравствуйте. Да. Я дедушка. Хорошо. А должно быть нехорошо? Ну а кто не болеет в старости? Старость и есть болезнь. Нет, кто вам такое сказал? А почему вы звоните мне? Вам лучше позвонить её родителям. Нет, совсем не тут. Точнее, не здесь. Я ничего об этом не знаю. Вы ведь учительница, вы и должны быть в курсе. Я не учу, я только призываю вас думать. Человек вырос из обезьяны, потому что научился думать. И вам того же. До свидания.

Сева повесил трубку, чувствуя, как Лиля проделывает взглядом дырки в его спине. Но Лиля смотрела в пол, и руки её свисали с плеч, как отслужившие своё бельевые верёвки.

Сева вдруг почувствовал голод и какое-то запоздалое озарение и сказал наигранно весёлым голосом: «А по-моему, пора бы и пообедать!» Но это прозвучало жалко. Лиля молча развернулась и медленно побрела из комнаты.

Рая потеревала его за плечо, и он очнулся.

– Который час? – спросил Сева.

– Почти четыре, – от Раи пахло уличной жарой и пылью. – Сегодня была толкотня. Умаялась, – она села на диван и запрокинула голову. – На следующей неделе закончу с картошкой и в июне возьмусь за побелку. То ли свет здесь такой, то ли потолок действительно серый. Ты помнишь «Букинист» на углу с базаром? Договорилась насчёт Диккенса. Двадцать четыре тома. Надо быстрее разгружать, стеллажи на ладан дышат. К июню перетаскаю всё. А может, Сашку Никитина попросить? Потом отнесу Шамякина. И может, ещё Зверева и фантастику...

– Зверева оставь.

Она сползла вниз, потянула ноги и с напряжением поворачивала ступнями.

– Пять минут – и ставлю обед. Ты, конечно, не ел?

– Ты калитку не запирала?

– Нет... кажется, нет... Не помню.

После обеда Сева выпил таблетку и, переждав положенное время, вышел в сад. Рая выскочила следом и накинула на него пуховый платок. Сесть в саду было негде. Стол, за которым пировал медведь, и скамейки к нему Рая пристроила соседям.

Сад был молод и стар одновременно. А Сева был стар. И Сева подумал, что конца нет у сада и у земли, а у него есть. И ему захотелось попробовать, как это – быть с землёй наедине. И узнать, куда всё уходит и откуда не возвращается. И хорошо было представлять Костю Нагибайло и всех остальных, и даже смешило, что плохое забывается быстро, а плохие стихи – никогда. И он подумал, что когда был молодой, много сидел на земле. И знал, как она везде одинаково пахнет – и в саду, и в окопе на Втором Украинском.

И ему захотелось посидеть. Времени у него было немного – пока Рая не заметит и не поднимет крик. И он быстро сел, ничего не постелив, чтобы между ним и землёй не было никакой преграды. Как не было её между ней и небом.

И сев, он обхватил руками колени и закрыл глаза.

И детские руки обвили его.